

Даниил Хармс Старуха

...И между ними происходит следующий разговор.
Гамсун.

На дворе стоит старуха и держит в руках стенные часы. Я прохожу мимо старухи, останавливаюсь и спрашиваю её: «Который час?»

– Посмотрите, – говорит мне старуха.

Я смотрю и вижу, что на часах нет стрелок.

– Тут нет стрелок, – говорю я.

Старуха смотрит на циферблат и говорит мне:

– Сейчас без четверти три.

– Ах так. Большое спасибо, – говорю я и ухожу.

Старуха кричит мна что-то вслед, но я иду не оглядываясь. Я выхожу на улицу и иду по солнечной стороне. Весеннее солнце очень приятно. Я иду пешком, щурю глаза и курю трубку. На углу Садовой мне попадаетея навстречу Сакердон Михайлович. Мы здороваемся, останавливаемся и долго разговариваем. Мне надоедает стоять на улице, и я приглашаю Сакердона Михайловича в подвальчик. Мы пьем водку, закусываем крутым яйцом с килькой, потом прощаемся, и я иду дальше один.

Тут я вдруг вспоминаю, что забыл дома выключить электрическую печку. Мне очень досадно. Я поворачиваюсь и иду домой. Так хорошо начался день, и вот уже первая неудача. Мне не следовало выходить на улицу.

Я прихожу домой, снимаю куртку, вынимаю из жилетного кармана часы и вешаю их на гвоздик; потом запираю дверь на ключ и ложусь на кушетку. Буду лежать и постараюсь заснуть.

С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казнь. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться. Родители растаскивают их по домам. Они лежат в своих кроватках и не могут даже есть, потому что у них не открываются рты. Их питают искусственно. Через неделю столбняк проходит, но дети так слабы, что ещё целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать, но я напускаю на них второй столбняк, и они все околевают.

Я лежу на кушетке с открытыми глазами и не могу заснуть. Мне вспоминается старуха с часами, которую я видел сегодня на дворе, и мне делается приятно, что на её часах не было стрелок. А вот на днях я видел в комиссионном магазине отвратительные кухонные часы, и стрелки у них были сделаны в виде ножа и вилки.

Боже мой! Ведь я ещё не выключил электрической печки! Я вскакиваю и выключаю её, потом опять ложусь на кушетку и стараюсь заснуть. Я закрываю глаза. Мне не хочется спать. В окно светит весеннее солнце, прямо на меня. Мне становится жарко. Я встаю и сажусь в кресло у окна.

Теперь мне хочется спать, но я спать не буду. Я возьму бумагу и перо и буду писать. Я чувствую в себе страшную силу. Я всё обдумал ещё вчера. Это будет рассказ о чудотворце, который живёт в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает. Его выселяют из квартиры, он знает, что стоит ему только махнуть платком, и квартира останется за ним, но он не делает этого, он покорно съезжает с квартиры и живет за городом в сарае. Он может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом, но он не делает этого, он продолжает жить в сарае и в конце концов умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда.

Я сию и от радости потираю руки. Сакердон Михайлович лопнет от зависти. Он думает, что я уже не способен написать гениальную вещь. Скорее, скорее за работу! Долой всякий сон и лень! Я буду писать восемнадцать часов подряд!

От нетерпения я весь дрожу. Я не могу сообразить, что мне делать: нужно было взять перо и бумагу, а я хватал разные предметы, совсем не те, которые мне были нужны. Я бегал по комнате: от окна к столу, от стола к печке, от печки опять к столу, потом к дивану и опять к окну. Я задыхался от пламени, которое пылало в моей груди. Сейчас только пять часов. Впереди весь день, и

вечер, и вся ночь...

Я стою посередине комнаты. О чём же я думаю? Ведь уже двадцать минут шестого. Надо писать. Я придвигаю к окну столик и сажусь за него. Передо мной клетчатая бумага, в руке перо.

Мое сердце ещё слишком бьется, и рука дрожит. Я жду, чтобы немножко успокоиться. Я кладу перо и набиваю трубку. Солнце светит мне прямо в глаза, я жмурюсь и трубку закуриваю.

Вот мимо окна пролетает ворона. Я смотрю из окна на улицу и вижу, как по панели идёт человек на механической ноге. Он громко стучит своей ногой и палкой.

– Так, – говорю я сам себе, продолжая смотреть в окно.

Солнце прячется за трубу противостоящего дома. Тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Надо воспользоваться этой тенью и написать несколько слов о чудотворце. Я хватаю перо и пишу:

«Чудотворец был высокого роста».

Больше я ничего написать не могу. Я сижу до тех пор, пока не начинаю чувствовать голод. Тогда я встаю и иду к шкапику, где хранится у меня провизия, я шарю там, но ничего не нахожу. Кусок сахара и больше ничего.

В дверь кто-то стучит.

– Кто там?

Мне никто не отвечает. Я открываю дверь и вижу перед собой старуху, которая утром стояла на дворе с часами. Я очень удивлён и ничего не могу сказать.

– Вот я и пришла, – говорит старуха и входит в мою комнату.

Я стою у двери и не знаю, что мне делать: выгнать старуху или, наоборот, предложить ей сесть? Но старуха сама идёт к моему креслу возле окна и садится в него.

– Закрой дверь и запири её на ключ, – говорит мне старуха.

Я закрываю и запираю дверь.

– Встань на колени, – говорит старуха.

И я становлюсь на колени.

Но тут я начинаю понимать всю нелепость своего положения. Зачем я стою на коленях перед какой-то старухой? Да и почему эта старуха находится в моей комнате и сидит в моём любимом кресле? Почему я не выгнал эту старуху?

– Послушайте-ка, – говорю я, – какое право имеете вы распоряжаться в моей комнате, да ещё командовать мной? Я вовсе не хочу стоять на коленях.

– И не надо, – говорит старуха. – Теперь ты должен лечь на живот и уткнуться лицом в пол.

Я тотчас исполнил приказание.

Я вижу перед собой правильно начерченные квадраты. Боль в плече и в правом бедре заставляет меня изменить положение. Я лежу ничком, теперь я с большим трудом поднимаюсь на колени. Все члены мои затекли и плохо сгибаются. Я оглядываюсь и вижу себя в своей комнате, стоящего на коленях посередине пола. Сознание и память медленно возвращаются ко мне. Я ещё оглядываю комнату и вижу, что на кресле у окна будто сидит кто-то. В комнате не очень светло, потому что сейчас, должно быть, белая ночь. Я пристально вглядываюсь. Господи! Неужели это старуха всё ещё сидит в моём кресле? Я вытягиваю шею и смотрю. Да, конечно, это сидит старуха и голову опустила на грудь. Должно быть, она уснула.

Я поднимаюсь и, прихрамывая, подхожу к ней. Голова старухи опущена на грудь, руки висят по бокам кресла. Мне хочется схватить эту старуху и вытолкать её за дверь.

– Послушайте, – говорю я, – вы находитесь в моей комнате. Мне надо работать. Я прошу вас уйти.

Старуха не движется. Я нагибаюсь и заглядываю старухе в лицо. Рот у неё приоткрыт и изо рта торчит соскочившая вставная челюсть. И вдруг мне делается всё ясно: старуха умерла.

Меня охватывает страшное чувство досады. Зачем она умерла в моей комнате? Я терпеть не могу покойников. А теперь возись с этой падалью, иди разговаривать с дворником, управдомом, объясняй им, почему эта старуха оказалась у меня. Я с ненавистью посмотрел на старуху. А может быть, она и не умерла? Я щупаю её лоб. Лоб холодный. Рука тоже. Ну что мне делать?

Я закуриваю трубку и сажусь на кушетку. Безумная злость поднимается во мне.

– Вот сволочь! – говорю я вслух.

Мёртвая старуха как мешок сидит в моём кресле. Зубы торчат у неё изо рта. Она похожа на мёртвую лошадь.

– Противная картина, – говорю я, но закрыть старуху газетой не могу, потому что мало ли что может случиться под газетой.

За стеной слышно движение: это встает мой сосед, паровозный машинист. Ещё того не хватало, чтобы он пронюхал, что у меня в комнате сидит мёртвая старуха! Я прислушиваюсь к шагам соседа. Чего он медлит? Уже половина шестого! Ему давно пора уходить. Боже мой! Он собирается пить чай! Я слышу, как за стенкой шумит примус. Ах, поскорее ушёл бы этот проклятый машинист!

Я забираюсь на кушетку с ногами и лежу. Проходит восемь минут, но чай у соседа ещё не готов и примус шумит. Я закрываю глаза и дремлю.

Мне снится, что сосед ушёл и я, вместе с ним, выхожу на лестницу и захопываю за собой дверь с французским замком. Ключа у меня нет, и я не могу попасть в квартиру. Надо звонить и будить остальных жильцов, а это уж совсем плохо. Я стою на площадке лестницы и думаю, что мне делать, и вдруг вижу, что у меня нет рук. Я наклоняю голову, чтобы лучше рассмотреть, есть ли у меня руки, и вижу, что с одной стороны у меня вместо руки торчит столовый ножик, а с другой стороны – вилка.

– Вот, – говорю я Сакердону Михайловичу, который сидит почему-то тут же на складном стуле. – Вот видите, – говорю я ему, – какие у меня руки?

А Сакердон Михайлович сидит молча, и я вижу, что это не настоящий Сакердон Михайлович, а глиняный.

Тут я просыпаюсь и сразу же понимаю, что лежу у себя в комнате на кушетке, а у окна, в кресле, сидит мёртвая старуха.

Я быстро поворачиваю к ней голову. Старухи в кресле нет. Я смотрю на пустое кресло, и дикая радость наполняет меня. Значит, это всё был сон. Но только где же он начался? Входила ли старуха вчера в мою комнату? Может быть, это тоже был сон? Я вернулся вчера домой, потому что забыл выключить электрическую печку. Но, может быть, и это был сон? Во всяком случае, как хорошо, что у меня в комнате нет мёртвой старухи и, значит, не надо идти к управдому и возиться с покойником!

Однако сколько же времени я спал? Я посмотрел на часы: половина десятого, должно быть, утра.

Господи! Чего только не приснится во сне!

Я спустил ноги с кушетки, собираясь встать, и вдруг увидел мёртвую старуху, лежащую на полу за столом, возле кресла. Она лежала лицом вверх, и вставная челюсть, выскочив изо рта, впиалась одним зубом старухе в ноздрю. Руки подвернулись под туловище и их не было видно, а из-под задравшейся юбки торчали костлявые ноги в белых, грязных шерстяных чулках.

– Сволочь! – крикнул я и, подбежав к старухе, ударил её сапогом по подбородку.

Вставная челюсть отлетела в угол. Я хотел ударить старуху ещё раз, но побоялся, чтобы на теле не остались знаки, а то ещё потом решат, что это я убил её.

Я отошёл от старухи, сел на кушетку и закурил трубку. Так прошло минут двадцать. Теперь мне стало ясно, что всё равно дело передадут в уголовный розыск и следственная бестолочь обвинит меня в убийстве. Положение выходит серьезное, а тут ещё этот удар сапогом.

Я подошёл опять к старухе, наклонился и стал рассматривать её лицо. На подбородке было маленькое тёмное пятнышко. Нет, придраться нельзя. Мало ли что? Может быть, старуха ещё при жизни стукнулась обо что-нибудь? Я немного успокаиваюсь и начинаю ходить по комнате, куря трубку и обдумывая своё положение.

Я хожу по комнате и начинаю чувствовать голод, всё сильнее и сильнее. От голода я начинаю даже дрожать. Я ещё раз шарю в шкапике, где хранится у меня провизия, но ничего не нахожу, кроме куска сахара.

Я вынимаю свой бумажник и считаю деньги. Одиннадцать рублей. Значит, я могу купить се-

бе ветчины и хлеб и ещё останется на табак.

Я поправляю сбившийся за ночь галстук, беру часы, надеваю куртку, тщательно запираю дверь своей комнаты, кладу ключ к себе в карман и выхожу на улицу. Надо раньше всего поесть, тогда мысли будут яснее и тогда я предприму что-нибудь с этой падалью.

По дороге в магазин ещё приходит в голову: не зайти ли мне к Сакердону Михайловичу и не рассказать ли ему всё, может быть, вместе мы скорее придумаем, что делать. Но я тут же отклоняю эту мысль, потому что некоторые вещи надо делать одному, без свидетелей.

В магазине не было ветчинной колбасы, и я купил себе полкило сарделек. Табака тоже не было. Из магазина я пошёл в булочную.

В булочной было много народу, и к кассе стояла длинная очередь. Я сразу нахмурился, но всё-таки в очередь встал. Очередь продвигалась очень медленно, а потом и вовсе остановилась, потому что у кассы произошёл какой-то скандал.

Я делал вид, что ничего не замечаю, и смотрел в спину молоденькой дамочки, которая стояла в очереди передо мной. Дамочка была, видно, очень любопытной: она вытягивала шейку то вправо, то влево и поминутно становилась на цыпочки, чтобы разглядеть, что происходит у кассы. Наконец она повернулась ко мне и спросила:

– Вы не знаете, что там происходит?

– Простите, не знаю, – сказал я как можно суше.

Дамочка повертелась в разные стороны и наконец опять обратилась ко мне:

– Вы не могли бы пойти и выяснить, что там происходит?

– Простите, меня это несколько не интересует, – сказал я ещё суше.

– Как не интересует? – воскликнула дамочка. – Ведь вы же сами задерживаетесь из-за этого в очереди!

Я ничего не ответил и только слегка поклонился. Дамочка внимательно посмотрела на меня.

– Это, конечно, не мужское дело стоять в очередях за хлебом, – сказала она. – Мне жалко вас, вам приходится тут стоять. Вы, должно быть, холостой?

– Да, холостой, – ответил я, несколько сбитый с толку, но по инерции продолжая отвечать довольно сухо и при этом слегка кланяясь.

Дамочка ещё раз осмотрела меня с головы до ног и вдруг, притронувшись пальцами к моему рукаву, сказала:

– Давайте я куплю что вам нужно, а вы подождите меня на улице.

Я совершенно растерялся.

– Благодарю вас, – сказал я. – Это очень мило с вашей стороны, но, право, я мог бы и сам.

– Нет, нет, – сказала дамочка, – ступайте на улицу. Что вы собирались купить?

– Видите ли, – сказал я, – я собирался купить полкило чёрного хлеба, но только формового, того, который дешевле. Я его больше люблю.

– Ну вот и хорошо, – сказала дамочка. – А теперь идите. Я куплю, а потом рассчитаюсь.

И она даже слегка подтолкнула меня под локоть.

Я вышел из булочной и встал у самой двери. Весеннее солнце светит мне прямо в лицо. Я закуриваю трубку. Какая милая дамочка! Это теперь так редко. Я стою, жмурюсь от солнца, курю трубку и думаю о милой дамочке. Ведь у неё светлые карие глазки. Просто прелесть, какая она хорошенькая!

– Вы курите трубку? – слышу я голос рядом с собой. Милая дамочка протягивает мне хлеб.

– О, бесконечно вам благодарен, – говорю я, беря хлеб.

– А вы курите трубку! Это мне страшно нравится, – говорит милая дамочка.

И между нами происходит следующий разговор.

ОНА: Вы, значит, сами ходите за хлебом?

Я: Не только за хлебом; я себе всё сам покупаю.

ОНА: А где же вы обедаете?

Я: Обыкновенно я сам варю себе обед. А иногда ем в пивной.

ОНА: Вы любите пиво?

Я: Нет, я больше люблю водку.

ОНА: Я тоже люблю водку.

Я: Вы любите водку? Как это хорошо! Я хотел бы когда-нибудь с вами вместе выпить.

ОНА: И я тоже хотела бы выпить с вами водки.

Я: Простите, можно вас спросить об одной вещи?

ОНА (сильно покраснев): Конечно, спрашивайте.

Я: Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога?

ОНА (удивленно): В Бога? Да, конечно.

Я: А что вы скажете, если нам сейчас купить водки и пойти ко мне. Я живу тут рядом.

ОНА (задорно): Ну что ж, я согласна!

Я: Тогда идёмте.

Мы заходим в магазин, и я покупаю пол-литра водки. Больше у меня нет денег, какая-то только мелочь. Мы всё время говорим о разных вещах, и вдруг я вспоминаю, что у меня в комнате, на полу, лежит мёртвая старуха.

Я оглядываюсь на мою новую знакомую: она стоит у прилавка и рассматривает банки с вареньем. Я осторожно пробираюсь к двери и выхожу из магазина. Как раз, против магазина, останавливается трамвай. Я вскакиваю в трамвай, даже не посмотрев на его номер. На Михайловской улице я вылезая и иду к Сакердону Михайловичу. У меня в руках бутылка с водкой, сардельки и хлеб.

Сакердон Михайлович сам открыл мне двери. Он был в халате, накинутом на голое тело, в русских сапогах с отрезанными голенищами и в меховой с наушниками шапке, но наушники были подняты и завязаны на макушке бантом.

– Очень рад, – сказал Сакердон Михайлович, увидя меня.

– Я не оторвал вас от работы? – спросил я.

– Нет, нет, – сказал Сакердон Михайлович. – Я ничего не делал, а просто сидел на полу.

– Видите ли, – сказал я Сакердону Михайловичу. – Я к вам пришёл с водкой и закуской. Если вы ничего не имеете против, давайте выпьем.

– Очень хорошо, – сказал Сакердон Михайлович. – Вы входите.

Мы прошли в его комнату. Я откупорил бутылку с водкой, а Сакердон Михайлович поставил на стол две рюмки и тарелку с вареным мясом.

– Тут у меня сардельки, – сказал я. – Так как мы их будем есть: сырыми, или будем варить?

– Мы их поставим варить, – сказал Сакердон Михайлович, – а сами будем пить водку под варёное мясо. Оно из супа, превосходное варёное мясо!

Сакердон Михайлович поставил на керосинку кастрюльку, и мы сели пить водку.

– Водку пить полезно, – говорил Сакердон Михайлович, наполняя рюмки. – Мечников писал, что водка полезнее хлеба, а хлеб – это только солома, которая гниёт в наших желудках.

– Ваше здоровье! – сказал я, чокаясь с Сакердоном Михайловичем.

Мы выпили и закусили холодным мясом.

– Вкусно, – сказал Сакердон Михайлович.

Но в это мгновение в комнате что-то щёлкнуло.

– Что это? – спросил я.

Мы сидели молча и прислушивались. Вдруг щёлкнуло ещё раз. Сакердон Михайлович вскочил со стула и, подбежав к окну, сорвал занавеску.

– Что вы делаете? – крикнул я.

Но Сакердон Михайлович, не отвечая мне, кинулся к керосинке, схватил занавеской кастрюльку и поставил её на пол.

– Чёрт побери! – сказал Сакердон Михайлович. – Я забыл в кастрюльку налить воды, а кастрюлька эмалированная, и теперь эмаль отскочила.

– Всё понятно, – сказал я, кивая головой.

Мы сели опять за стол.

– Чёрт с ними, – сказал Сакердон Михайлович, – мы будем есть сардельки сырыми.

- Я страшно есть хочу, – сказал я.
- Кушайте, – сказал Сакердон Михайлович, пододвигая мне сардельки.
- Ведь я последний раз ел вчера, с вами в подвальчике, и с тех пор ничего ещё не ел, – сказал я.
- Да, да, да, – сказал Сакердон Михайлович.
- Я всё время писал, – сказал я.
- Чёрт побери! – утрированно вскричал Сакердон Михайлович. – Приятно видеть перед собой гения.
- Ещё бы! – сказал я.
- Много поди навалили? – спросил Сакердон Михайлович.
- Да, – сказал я. – Исписал пропасть бумаги.
- За гения наших дней, – сказал Сакердон Михайлович, поднимая рюмки.
- Мы выпили. Сакердон Михайлович ел варёное мясо, а я – сардельки. Съев четыре сардельки, я закурил трубку и сказал:
- Вы знаете, я ведь к вам пришёл, спасаясь от преследования.
- Кто же вас преследовал? – спросил Сакердон Михайлович.
- Дама, – сказал я.
- Но так как Сакердон Михайлович ничего меня не спросил, а только молча налил в рюмки водку, то я продолжал:
- Я с ней познакомился в булочной и сразу влюбился.
- Хороша? – спросил Сакердон Михайлович.
- Да, – сказал я, – в моём вкусе.
- Мы выпили, и я продолжал:
- Она согласилась идти ко мне и пить водку. Мы зашли в магазин, но из магазина мне пришлось потихоньку удрать.
- Не хватило денег? – спросил Сакердон Михайлович.
- Нет, денег хватило в обрез, – сказал я, – но я вспомнил, что не могу пустить её в свою комнату.
- Что же, у вас в комнате была другая дама? – спросил Сакердон Михайлович.
- Да, если хотите, у меня в комнате находится другая дама, – сказал я, улыбаясь. – Теперь я никого в свою комнату не могу пустить.
- Женитесь. Будете приглашать меня к обеду, – сказал Сакердон Михайлович.
- Нет, – сказал я, фыркая от смеха. – На этой даме я не женюсь.
- Ну тогда женитесь на той, которая из булочной, – сказал Сакердон Михайлович.
- Да что вы всё хотите меня женить? – сказал я.
- А что же? – сказал Сакердон Михайлович, наполняя рюмки. – За ваши успехи!
- Мы выпили. Видно, водка начала оказывать на нас своё действие. Сакердон Михайлович снял свою меховую с наушниками шапку и швырнул её на кровать. Я встал и прошёлся по комнате, ощущая уже некоторое головокружение.
- Как вы относитесь к покойникам? – спросил я Сакердона Михайловича.
- Совершенно отрицательно, – сказал Сакердон Михайлович. – Я их боюсь.
- Да, я тоже терпеть не могу покойников, – сказал я. – Подвернись мне покойник, и не будь он мне родственником, я бы, должно быть, пнул бы его ногой.
- Не надо лгать мертвецов, – сказал Сакердон Михайлович.
- А я бы пнул его сапогом прямо в морду, – сказал я. – Терпеть не могу покойников и детей.
- Да, дети – гадость, – согласился Сакердон Михайлович.
- А что, по-вашему, хуже: покойники или дети? – спросил я.
- Дети, пожалуй, хуже, они чаще мешают нам. А покойники всё-таки не врываются в нашу жизнь, – сказал Сакердон Михайлович.
- Врываются! – крикнул я и сейчас же замолчал.
- Сакердон Михайлович внимательно посмотрел на меня.
- Хотите ещё водки? – спросил он.

– Нет, – сказал я, но, спохватившись, прибавил: – Нет, спасибо, я больше не хочу.

Я подошёл и сел опять за стол. Некоторое время мы молчим.

– Я хочу спросить вас, – говорю я наконец. – Вы веруете в Бога?

У Сакердона Михайловича появляется на лбу поперечная морщина, и он говорит:

– Есть неприличные поступки. Неприлично спросить у человека пятьдесят рублей в долг, если вы видели, как он только что положил себе в карман двести. Его дело: дать вам деньги или отказать; и самый удобный и приятный способ отказа – это соврать, что денег нет. Вы же видели, что у того человека деньги есть, и тем самым лишили его возможности вам просто и приятно отказать. Вы лишили его права выбора, а это свинство. Это неприличный и бестактный поступок. И спросить человека: «Веруете ли в Бога?» – тоже поступок бестактный и неприличный.

– Ну, – сказал я, – тут уж нет ничего общего.

– А я и не сравниваю, – сказал Сакердон Михайлович.

– Ну, хорошо, – сказал я, – оставим это. Извините только меня, что я задал вам такой неприличный и бестактный вопрос.

– Пожалуйста, – сказал Сакердон Михайлович. – Ведь я просто отказался отвечать вам.

– Я бы тоже не ответил, – сказал я, – да только по другой причине.

– По какой же? – вяло спросил Сакердон Михайлович.

– Видите ли, – сказал я, – по-моему, нет верующих или неверующих людей. Есть только желающие верить и желающие не верить.

– Значит, те, что желают не верить, уже во что-то верят? – сказал Сакердон Михайлович. – А те, что желают верить, уже заранее не верят ни во что?

– Может быть, и так, – сказал я. – Не знаю.

– А верят или не верят во что? В Бога? – спросил Сакердон Михайлович.

– Нет, – сказал я, – в бессмертие.

– Тогда почему же вы спросили меня, верую ли я в Бога?

– Да просто потому, что спросить: «Верите ли вы в бессмертие?» – звучит как-то глупо, – сказал я Сакердону Михайловичу и встал.

– Вы что, уходите? – спросил меня Сакердон Михайлович.

– Да, – сказал я, – мне пора.

– А что же водка? – сказал Сакердон Михайлович. – Ведь и осталось-то всего по рюмке.

– Ну, давайте допьем, – сказал я.

Мы допили водку и закусили остатками варёного мяса.

– А теперь я должен идти, – сказал я.

– До свидания, – сказал Сакердон Михайлович, провожая меня через кухню на лестницу. – Спасибо за угощение.

– Спасибо вам, – сказал я. – До свидания.

И я ушёл.

Оставшись один, Сакердон Михайлович убрал со стола, закинул на шкаф пустую водочную бутылку, опять надел на голову свою меховую с наушниками шапку и сел под окном на пол. Руки Сакердон Михайлович заложил за спину, и их не было видно. А из-под задравшегося халата торчали голые костлявые ноги, обутые в русские сапоги с отрезанными голенищами.

Я шёл по Невскому, погружённый в свои мысли. Мне надо сейчас же пройти к управдому и рассказать ему всё. А разделившись со старухой, я буду целые дни стоять около булочной, пока не встречу ту милую дамочку. Ведь я остался ей должен за хлеб 48 копеек. У меня есть прекрасный предлог её разыскивать. Выпитая водка продолжала ещё действовать, и казалось, что всё складывается очень хорошо и просто.

На Фонтанке я подошёл к ларьку и, на оставшуюся мелочь, выпил большую кружку хлебного кваса. Квас был плохой и кислый, и я пошёл дальше с мерзким вкусом во рту.

На углу Литейной какой-то пьяный, пошатнувшись, толкнул меня. Хорошо, что у меня нет револьвера: я бы убил его тут же на месте.

До самого дома я шёл, должно быть, с искажённым от злости лицом. Во всяком случае почти

все встречные оборачивались на меня.

Я вошёл в домовую контору. На столе сидела низкорослая, грязная, курносая, кривая и белобрысая девка и, глядясь в ручное зеркальце, мазала себе помадой губы.

– А где же управдом? – спросил я.

Девка молчала, продолжая мазать губы.

– Где управдом? – повторил я резким голосом.

– Завтра будет, не сегодня, – отвечала грязная, курносая, кривая и белобрысая девка.

Я вышел на улицу. По противоположной стороне шёл инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Шесть мальчишек бежало за инвалидом, передразнивая его походку.

Я завернул в свою парадную и стал подниматься по лестнице. На втором этаже я остановился; противная мысль пришла мне в голову: ведь старуха должна начать разлагаться. Я не закрыл окна, а говорят, что при открытом окне покойники разлагаются быстрее. Вот ведь глупость какая! И этот чёртов управдом будет только завтра! Я постоял в нерешительности несколько минут и стал подниматься дальше.

Около двери в свою квартиру я опять остановился. Может быть, пойти к булочной и ждать там ту милую дамочку? Я бы стал умолять её пустить меня к себе на две или три ночи. Но тут я вспоминаю, что сегодня она уже купила хлеб и, значит, в булочную не придёт. Да и вообще из этого ничего бы не вышло.

Я отпер дверь и вошёл в коридор. В конце коридора горел свет, и Марья Васильевна, держа в руках какую-то тряпку, тёрла по ней другой тряпкой. Увидя меня, Марья Васильевна крикнула:

– Ваш шпрашивал какой-то штарик!

– Какой старик? – сказал я.

– Не жнаю, – отвечала Марья Васильевна.

– Когда это было? – спросил я.

– Тоже не жнаю, – сказала Марья Васильевна.

– Вы разговаривали со стариком? – спросил я Марью Васильевну.

– Я, – отвечала Марья Васильевна.

– Так как же вы не знаете, когда это было? – сказал я.

– Чиша два тому нажад, – сказала Марья Васильевна.

– А как этот старик выглядел? – спросил я.

– Тоже не жнаю, – сказала Марья Васильевна и ушла на кухню.

Я подошёл к своей комнате.

«Вдруг, – подумал я, – старуха исчезла. Я войду в комнату, а старухи-то и нет. Боже мой! Неужели чудес не бывает?!»

Я отпер дверь и начал её медленно открывать. Может быть, это только показалось, но мне в лицо пахнул приторный запах начавшегося разложения. Я заглянул в приотворённую дверь и, на мгновение, застыл на месте. Старуха на четвереньках медленно ползла ко мне навстречу.

Я с криком захлопнул дверь, повернул ключ и отскочил к противоположной стенке.

В коридоре появилась Марья Васильевна.

– Вы меня жвали? – спросила она.

Меня так трясло, что я ничего не мог ответить и только отрицательно замотал головой. Марья Васильевна подошла поближе.

– Вы ш кем-то ражговаривали, – сказала она.

Я опять отрицательно замотал головой.

– Шумашедший, – сказала Марья Васильевна и опять ушла на кухню, несколько раз по дороге оглянувшись на меня.

«Так стоять нельзя. Так стоять нельзя», – повторял я мысленно. Эта фраза сама собой сложилась где-то внутри меня. Я твердил её до тех пор, пока она не дошла до моего сознания.

– Да, так стоять нельзя, – сказал я себе, но продолжал стоять как парализованный. Случилось что-то ужасное, но предстояло сделать что-то, может быть, ещё более ужасное, чем то, что уже произошло. Вихрь кружил мои мысли, и я только видел злобные глаза мёртвой старухи, медленно

ползущей ко мне на четвереньках.

Ворваться в комнату и раздробить этой старухе череп. Вот что надо сделать! Я даже поискал глазами и остался доволен, увидя крокетный молоток, неизвестно для чего уже в продолжение многих лет стоящий в углу коридора. Схватить молоток, ворваться в комнату и трах!..

Озноб ещё не прошёл. Я стоял с поднятыми плечами от внутреннего холода. Мои мысли скакали, путались, возвращались к исходному пункту и вновь скакали, захватывая новые области, а я стоял и прислушивался к своим мыслям и был как бы в стороне от них и был как бы не их командир.

– Покойники, – объясняли мне мои собственные мысли, – народ неважный. Их зря называют *покойники*, они скорее *беспокойники*. За ними надо следить и следить. Спросите любого сторожа из мертвецкой. Вы думаете, он для чего поставлен там? Только для одного: следить, чтобы покойники не расползались. Бывают, в этом смысле, забавные случаи. Один покойник, пока сторож, по приказанию начальства, мылся в бане, выполз из мертвецкой, заполз в дезинфекционную камеру и съел там кучу белья. Дезинфекторы здорово отлупцевали этого покойника, но за испорченное бельё им пришлось рассчитываться из своих собственных карманов. А другой покойник заполз в палату рожениц и так перепугал их, что одна роженица тут же произвела преждевременный выкидыш, а покойник набросился на выкинутый плод и начал его, чавкая, пожирать. А когда одна храбрая сиделка ударила покойника по спине табуреткой, то он укусил эту сиделку за ногу, и она вскоре умерла от заражения трупным ядом. Да, покойники народ неважный, и с ними надо быть начеку.

– Стоп! – сказал я своим собственным мыслям. – Вы говорите чушь. Покойники неподвижны.

– Хорошо, – сказали мне мои собственные мысли, – войди тогда в свою комнату, где находится, как ты говоришь, неподвижный покойник.

Неожиданное упрямство заговорило во мне.

– И войду! – сказал я решительно своим собственным мыслям.

– Попробуй! – сказали мне мои собственные мысли.

Эта насмешливость окончательно взбесила меня. Я схватил крокетный молоток и кинулся к двери.

– Подожди! – закричали мне мои собственные мысли. Но я уже повернул ключ и распахнул дверь.

Старуха лежала у порога, уткнувшись лицом в пол.

С поднятым крокетным молотком я стоял наготове. Старуха не шевелилась.

Озноб прошёл, и мысли мои текли ясно и четко. Я был командиром их.

– Раньше всего закрыть дверь! – скомандовал я сам себе.

Я вынул ключ с наружной стороны двери и вставил его с внутренней. Я сделал это левой рукой, а в правой я держал крокетный молоток и всё время не спускал со старухи глаз. Я запер дверь на ключ и, осторожно переступив через старуху, вышел на середину комнаты.

– Теперь мы с тобой рассчитаемся, – сказал я. У меня возник план, к которому обыкновенно прибегают убийцы из уголовных романов и газетных происшествий; я просто хотел запрянуть старуху в чемодан, отвезти её за город и спустить в болото. Я знал одно такое место.

Чемодан стоял у меня под кушеткой. Я вытащил его и открыл. В нём находились кое-какие вещи: несколько книг, старая фетровая шляпа и рваное бельё. Я выложил всё это на кушетку.

В это время громко хлопнула наружная дверь, и мне показалось, что старуха вздрогнула.

Я моментально вскочил и схватил крокетный молоток.

Старуха лежит спокойно. Я стою и прислушиваюсь. Это вернулся машинист, я слышу, как он ходит у себя по комнате. Вот он идёт по коридору на кухню. Если Марья Васильевна расскажет ему о моём сумасшествии, это будет нехорошо. Чертовщина какая! Надо и мне пройти на кухню и своим видом успокоить их.

Я опять перешагнул через старуху, поставил молоток возле самой двери, чтобы, вернувшись обратно, я бы мог, не входя ещё в комнату, иметь молоток в руках, и вышел в коридор. Из кухни неслись голоса, но слов не было слышно. Я прикрыл за собой дверь в свою комнату и осторожно

пошёл на кухню: мне хотелось узнать, о чем говорит Марья Васильевна с машинистом. Коридор я прошёл быстро, а около кухни замедлил шаги. Говорил машинист, по-видимому, он рассказывал что-то случившееся с ним на работе.

Я вошёл. Машинист стоял с полотенцем в руках и говорил, а Марья Васильевна сидела на табурете и слушала. Увидя меня, машинист махнул мне рукой.

– Здравствуйте, здравствуйте, Матвей Филлипович, – сказал я ему и прошёл в ванную комнату. Пока всё было спокойно. Марья Васильевна привыкла к моим странностям и этот последний случай могла уже и забыть.

Вдруг меня осенило: я не запер дверь. А что, если старуха выползет из комнаты?

Я кинулся обратно, но вовремя спохватился и, чтобы не испугать жильцов, прошёл через кухню спокойными шагами.

Марья Васильевна стучала пальцем по кухонному столу и говорила машинисту:

– Ждорова! Вот это ждорова! Я бы тоже швиштела!

С замирающим сердцем я вышел в коридор и тут уже чуть не бегом пустился к своей комнате.

Снаружи всё было спокойно. Я подошёл к двери и, приотворив её, заглянул в комнату. Старуха по-прежнему спокойно лежала, уткнувшись лицом в пол. Крокетный молоток стоял у двери на прежнем месте. Я взял его, вошёл в комнату и запер за собою дверь на ключ. Да, в комнате определенно пахло трупом. Я перешагнул через старуху, подошёл к окну и сел в кресло. Только бы мне не стало дурно от этого пока ещё хоть и слабого, но всё-таки нестерпимого запаха. Я закурил трубку. Меня подташнивало, и немного болел живот.

Ну что же я так сижу? Надо действовать скорее, пока эта старуха окончательно не протухла. Но, во всяком случае, в чемодан её надо запихивать осторожно, потому что как раз тут-то она и может тяпнуть меня за палец. А потом умирать от трупного заражения – благодарю покорно!

– Эге! – воскликнул я вдруг. – А интересуюсь я: чем вы меня укусите? Зубки-то ваши вон где!

Я перегнулся в кресле и посмотрел в угол по ту сторону окна, где, по моим расчетам, должна была находится вставная челюсть старухи. Но челюсти там не было.

Я задумался: может быть, мёртвая старуха ползала у меня по комнате, ища свои зубы? Может быть, даже, нашла их и вставила себе обратно в рот?

Я взял крокетный молоток и пошарил им в углу. Нет, челюсть пропала. Тогда я вынул из комода толстую байковую простыню и подошёл к старухе. Крокетный молоток я держал наготове в правой руке, а в левой я держал байковую простыню.

Брезгливый страх к себе вызывала эта мёртвая старуха. Я приподнял молотком её голову: рот был открыт, глаза закатились кверху, а по всему подбородку, куда я ударил её сапогом, расплзлось большое тёмное пятно. Я заглянул старухе в рот. Нет, она не нашла свою челюсть. Я опустил голову. Голова упала и стукнулась об пол.

Тогда я расстелил по полу байковую простыню и подтянул её к самой старухе. Потом ногой и крокетным молотком я перевернул старуху через левый бок на спину. Теперь она лежала на простыне. Ноги старухи были согнуты в коленях, а кулаки прижаты к плечам. Казалось, что старуха, лежа на спине, как кошка, собирается защищаться от нападающего на неё орла. Скорее, прочь эту падаль!

Я закатал старуху в толстую простыню и поднял её на руки. Она оказалась легче, чем я думал. Я опустил её в чемодан и попробовал закрыть крышкой. Тут я ожидал всяких трудностей, но крышка сравнительно легко закрылась. Я щелкнул чемоданными замками и выпрямился.

Чемодан стоит перед мной, с виду вполне благопристойный, как будто в нем лежит белье и книги. Я взял его за ручку и попробовал поднять. Да, он был, конечно, тяжёл, но не чрезмерно, я мог вполне донести его до трамвая.

Я посмотрел на часы: двадцать минут шестого. Это хорошо. Я сел в кресло, чтобы немного передохнуть и выкурить трубку.

Видно, сардельки, которые я ел сегодня, были не очень хороши, потому что живот мой болел всё сильнее. А может быть, это потому, что я ел их сырыми? А может быть, боль в животе была и

чисто нервной.

Я сижу и курю. И минуты бегут за минутами.

Весеннее солнце светит в окно, и я жмурюсь от его лучей. Вот оно прячется за трубу противостоящего дома, и тень от трубы бежит по крыше, перелетает улицу и ложится мне на лицо. Я вспоминаю, как вчера в это же время я сидел и писал повесть. Вот она: клетчатая бумага и на ней надпись, сделанная мелким почерком: – «Чудотворец был высокого роста».

Я посмотрел в окно. По улице шёл инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Двое рабочих и с ними старуха, держась за бока, хохотали над смешной походкой инвалида.

Я встал. Пора! Пора в путь! Пора отвозить старуху на болото! Мне нужно ещё занять деньги у машиниста.

Я вышел в коридор и подошёл к его двери.

– Матвей Филлипович, вы дома? – спросил я.

– Дома, – ответил машинист.

– Тогда, извините, Матвей Филлипович, вы не богаты деньгами? Я послезавтра получу. Не могли ли бы вы мне одолжить тридцать рублей?

– Мог бы, – сказал машинист. И я слышал, как он звякал ключами, отпирая какой-то ящик. Потом он открыл дверь и протянул мне новую красную тридцатирублевку.

– Большое спасибо, Матвей Филлипович, – сказал я.

– Не стоит, не стоит, – сказал машинист.

Я сунул деньги в карман и вернулся в свою комнату. Чемодан спокойно стоял на прежнем месте.

– Ну теперь в путь, без промедления, – сказал я сам себе.

Я взял чемодан и вышел из комнаты.

Марья Васильевна увидела меня с чемоданом и крикнула:

– Куда вы?

– К тётке, – сказал я.

– Шкоро приедете? – спросила Марья Васильевна.

– Да, – сказал я. – Мне нужно только отвезти к тётке кое-какое бельё. А приеду, может быть, и сегодня.

Я вышел на улицу. До трамвая я дошёл благополучно, неся чемодан то в правой, то в левой руке.

В трамвай я влез с передней площадки прицепного вагона и стал махать кондукторше, чтобы она пришла получить за багаж и билет. Я не хотел передавать единственную тридцатирублевку через весь вагон, и не решался оставить чемодан и сам пройти к кондукторше. Кондукторша пришла ко мне на площадку и заявила, что у неё нет сдачи. На первой же остановке мне пришлось слезть.

Я стоял злой и ждал следующего трамвая. У меня болел живот и слегка дрожали ноги.

И вдруг я увидел мою милую дамочку: она переходила улицу и не смотрела в мою сторону.

Я схватил чемодан и кинулся за ней. Я не знал, как её зовут, и не мог её окликнуть. Чемодан страшно мешал мне: я держал его перед собой двумя руками и подталкивал его коленями и животом. Милая дамочка шла довольно быстро, и я чувствовал, что мне её не догнать. Я был весь мокрый от пота и выбивался из сил. Милая дамочка повернула в переулок. Когда я добрался до угла – её нигде не было.

– Проклятая старуха! – прошипел я, бросая чемодан на землю.

Рукава моей куртки насквозь промокли от пота и липли к рукам. Двое мальчишек остановились передо мной и стали меня рассматривать. Я сделал спокойное лицо и пристально смотрел на ближайшую подворотню, как бы поджидая кого-то. Мальчишки шептались и показывали на меня пальцами. Дикая злоба душила меня. Ах, напустить бы на них столбняк!

И вот из-за этих паршивых мальчишек я встаю, поднимаю чемодан, подхожу с ним к подворотне и заглядываю туда. Я делаю удивлённое лицо, достаю часы и пожимаю плечами. Мальчишки издали наблюдают за мной. Я ещё раз пожимаю плечами и заглядываю в подворотню.

– Странно, – говорю я вслух, беру чемодан и тащу его к трамвайной остановке.

На вокзал я приехал без пяти минут семь. Я беру обратный билет до Лисьего Носа и сажусь в поезд.

В вагоне, кроме меня, ещё двое: один, как видно, рабочий, он устал и, надвинув кепку на глаза, спит. Другой, ещё молодой парень, одет деревенским франтом: под пиджаком у него розовая косоворотка, а из-под кепки торчит курчавый кок. Он курит папироску, всунутую в ярко-зеленый мундштук из пластмассы.

Я ставлю чемодан между скамейками и сажусь. В животе у меня такие рези, что я сжимаю кулаки, чтобы не застонать от боли.

По платформе два милиционера ведут какого-то гражданина в пикет. Он идёт, заложив руки за спину и опустив голову.

Поезд трогается. Я смотрю на часы: десять минут восьмого.

О, с каким удовольствием спущу я эту старуху в болото! Жаль только, что я не захватил с собой палку, должно быть, старуху придётся подталкивать.

Франт в розовой косоворотке нахально разглядывает меня. Я поворачиваюсь к нему спиной и смотрю в окно.

В моём животе происходят ужасные схватки; тогда я стискиваю зубы, сжимаю кулаки и напрягаю ноги.

Мы проезжаем Ланскую и Новую Деревню. Вон мелькает золотая верхушка Буддийской пагоды, а вон показалось море.

Но тут я вскакиваю и, забыв всё вокруг, мелкими шажками бегу в уборную. Безумная волна качает и вертит моё сознание...

Поезд замедляет ход. Мы подъезжаем к Лахте. Я сижу, боясь пошевелиться, чтобы меня не выгнали на остановке из уборной.

– Скорее бы он трогался! Скорее бы он трогался!

Поезд трогается, и я закрываю глаза от наслаждения. О, эти минуты бывают столь же сладки, как мгновения любви!

Все силы мои напряжены, но я знаю, что за этим последует страшный упадок.

Поезд опять останавливается. Это Ольгино. Значит, опять эта пытка!

Но теперь это ложные позывы. Холодный пот выступает у меня на лбу, и лёгкий холодок порхает вокруг моего сердца. Я поднимаюсь и некоторое время стою, прижавшись головой к стене. Поезд идёт, и покачивание вагона мне очень приятно.

Я собираю все свои силы и пошатываясь выхожу из уборной.

В вагоне нет никого. Рабочий и франт в розовой косоворотке, видно, слезли на Лахте или в Ольгино. Я медленно иду к своему окошку.

И вдруг я останавливаюсь и тупо гляжу перед собой. Чемодана, там, где я его оставил, нет. Должно быть, я ошибся окном. Я прыгаю к следующему окошку. Чемодана нет. Я прыгаю назад, вперед, я пробегаю вагон в обе стороны, заглядываю под скамейки, но чемодана нигде нет.

Да, разве можно тут сомневаться? Конечно, пока я был в уборной, чемодан украли. Это можно было предвидеть!

Я сижу на скамейке с вытаращенными глазами, и мне почему-то вспоминается, как у Сакердона Михайловича с треском отскакивала эмаль от раскалённой кастрюльки.

– Что же случилось? – спрашиваю я сам себя. – Ну кто теперь поверит, что я не убивал старуху? Меня сегодня же схватят, тут же или в городе на вокзале, как того гражданина, который шёл, опустив голову.

Я выхожу на площадку вагона. Поезд подходит к Лисьему Носу. Мелькают белые столбики, окружающие дорогу. Поезд останавливается. Ступеньки моего вагона не доходят до земли. Я соскакиваю и иду к станционному павильону. До поезда, идущего в город, ещё полчаса.

Я иду в лесок. Вот кустики можжевельника. За ними меня никто не увидит. Я направляюсь туда.

По земле ползёт большая зелёная гусеница. Я опускаюсь на колени и трогаю её пальцем. Она сильно и жилисто складывается несколько раз в одну и в другую сторону.

Я оглядываюсь. Никто меня не видит. Легкий трепет бежит по моей спине.

Я низко склоняю голову и негромко говорю:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

* * *

На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась.